



Е. А. ЛЯЦКИЙ

Пушкин и его историческая мысль

Политические идеи Пушкина, его национальное чувство и впечатления свободолюбивого гражданина крепостной России представляют собой такой сложный узел противоречивых оттенков глубоко-русской, интуитивно-всенародной стихии, что развязать его одним каким-нибудь определением положительно невозможно. Исключительно правдивая и верная себе впечатлительность поэта мгновенно рождала мысли и слова, отвечавшие многообразным ощущениям русской действительности, не заботилась тут же разносить их по различным клеточкам уже выработанных взглядов и убеждений. Пушкин не боялся противоречий — последние отвечали разнообразию его переживаний. Поэтому зачисление его в разряд революционеров по духу грешило бы тою неточностью, как и обвинение его в консерватизме или преданности самодержавию. И то и другое определение, со всеми его подразделениями, по большей части основывались на недостаточном понимании поэтической природы Пушкина. Он — исключительное, благороднейшее воплощение всего, что совмещалось в русской душе и русской жизни: утонченнейшие постижения дворянской культуры и совершеннейшее знание русской народной души, со всей ее стихийной нелепостью, буйством слепых и темных страстей и с ее тоской по Божьей правде и готовностью смиренно терпеть и страдать. Стихийное, буйное, страстное, изменчивое было столь же свойственно и душе Пушкина, как божественно-высокое, жертвенно-священное, молитвенно-трогательное, солнечное, бесконечно нежное. Общий порыв к красоте смягчал наплывы темных призраков в его душе, но несомненно, что подчас в ней происходила жестокая борьба, от которой дошли до нас лишь охлажденные отражения. Под их блеском и красотой можно лишь угадывать трудно укротимую игру страстей, бури неудовлетворенных стремлений, «бешенство

желаний», муки совести и бессонные ночи печалей и поздних сожалений.

Такова была психологическая основа опыта мысли, рождавшейся в глубине пламенных исканий и охлаждавшейся в трезвом и ясном слове.

Нелегко читать пушкинскую душу. С одной стороны, она так просто открывалась, с такой исключительной доверчивостью позволяла заглядывать в самые сокровенные тайники своего внутреннего мира. С другой — поэт сознательно и намеренно не допускал постороннего взора в некоторые области своих переживаний. В области чувства таким заповедным уголком его души была светлая печаль об единой, истинной любви Пушкина к Марии Раевской. Но и в области мысли было нечто, что Пушкин глубоко таил или затушевывал от современников. И то, что он таил, и то, от чего он отводил любопытные взоры, связывалось глубочайшими интимными связями с основным смыслом истории и бытия России — ее государства, ее народа. Он оставил для нас много произведений, по которым мы можем изучать его исторические и политические взгляды, но не оставил одного — связи между ними, синтеза, высшего смысла. Между тем только в этой внутренней связи, в раскрытии этого смысла коренится разгадка самых скрытых, но в то же время и самых существенных сторон духовного облика Пушкина.

Отметим несколько признаков, которые даются непосредственным наблюдением. Пусть они явятся перед нами сначала в виде вопросов, которые своевременно поставить, даже не надеясь на их исчерпывающее разрешение вообще — они все же подвинут нас к пониманию Пушкина. Начнем с того, что представляется не подлежащим никакому сомнению: Пушкин понимал современную ему самодержавную и крепостную Россию в одном нераздельном представлении с ее восточноевропейским прошлым, судил о ней слитно, как мыслитель и как историк. Историзм стал постепенно предпосылкой его политической мысли, — этим историзмом определялись весьма многие из его частных суждений, в их числе и позднейшее мнение о книге Радищева, и критическое отношение к замыслу декабристов. Примем как нечто, также не подлежащее сомнению, что в выборе сюжетов поэм и драматических произведений у Пушкина не было ничего случайного, что не вытекало бы из основных начал его общего мировоззрения. В самом деле, если в «южных поэмах» ощущается так сильно единство лирического чувства, причем сюжеты можно рассматривать лишь как внешнюю орнаментику, вызывающую

игру воображения, то в произведениях исторического характера мы вправе искать единства руководящей мысли. Здесь, в противоположность тому, что можно наблюдать в южных поэмах, выбор сюжета является важнейшим выражением этой мысли. Первым строго историческим произведением из русской жизни была трагедия «Борис Годунов». Возможно задать вопрос: почему Пушкин остановился на сравнительно скудных внешними событиями царствования Годунова, а не взял для своего изображения столь богатую оттенками, столь ярко красочную личность Ивана Грозного? Ответ, нам думается, ясен: Пушкина занимало разрешение психологической проблемы, по отношению к которой изображение эпохи было средством, но не целью. Сущность психологической проблемы заключалась в изображении такого душевного состояния, при котором носитель верховной власти, достигший ее путем преступления, становился своим собственным судьей и палачом, подвергавшим себя самого невыносимой нравственной пытке. И когда приговор высшего суда совести совершился над Борисом, когда он и его дети, вовлеченные в роковой круг несчастий, погибли, — свершилось и верховное признание справедливости возмездия, постигшего убийцу царевича Димитрия и похитителей его прав на престол. «Толпа безмолвствует»¹ — этой лаконической заключительной и столь знаменательной фразой он утвердил господство великих законов права и правды, Действие которых было столь же непреложно в эпоху Софокла и Еврипида, как и в эпоху Шекспира. Безмолвие народной толпы не было ни ужасом, ни состраданием — оно было инстинктивным с преклонением перед Божественным Разумом, указующим путь правды в мятежной человеческой душе.

Однако характерно, что для воплощения этой мысли Пушкин остановился именно на мотиве возмездия за овладение царским тронном путем кровавого преступления. Не коренился ли, спросим мы далее, его интерес к личности Екатерины и ее роли в событиях Пугачевского бунта в дальнейшем, хотя, к сожалению, сравнительно скрытом от нас, развитии того же мотива? Годунов и Екатерина, царевич Димитрий и убитый — в обстановке, бросающей тень на императрицу — ее супруг, император Петр III. В историческом отношении это не параллели, даже не аналогии, но в отношении психологическом оба мотива — близнецы. И здесь и там на пути к царскому трону — преступный замысел, насилие и кровь. Правда, Пушкин не находил в Екатерине признаков того душевного надлома, который совершил акт возмездия над душой Годунова. Не было и Лжедмитрия, пришедшего

восстановить внешние формы нарушенного закона. Напротив, Екатерина рисовалась Пушкину уравновешенной и безнаказанно великодушной к убийцам своего мужа, считавшей себя законно призванной осыпать Россию блеском и своей мудрости, и своих благодеяний. Но на полпути к разрешению нравственных проблем Пушкин остановиться не мог. Пусть сама Екатерина, виновность которой в смерти Петра III не была доказана, не понесла личной ответственности за эту смерть. Бывают случаи, что преступление отцов часто сказывается тяжелыми последствиями на их детях и внуках... Высший закон справедливости не знает изъятий: там, где преступник или соучастник преступления сам не карает себя, мстителем является народ. Народ в «Капитанской дочке» выходит из того пассивного состояния, в каком Пушкин оставил его в «Борисе Годунове», — он воскресил Петра III и прошелся такой страшной лавиной возмущения по России, которая едва не смела в своем буйном беге и самое императрицу. Роль и значение народа как бунтовщика и носителя правды дали Пушкину повод внести новый, гораздо более сложный мотив в психологию преступления и наказания. Пушкин чувствовал глубокую знаменательность этого мотива. Недаром, поставленный в необходимость официально избрать предмет своих занятий, он добился разрешения исследовать дела именно Пугачевского бунта. «Капитанская дочка», это высочайшее достижение исторической эпики, может быть рассматриваемо лишь как одно, и то далеко не полное, отражение тех художественных и психологических замыслов, которые изощряли историческую любознательность Пушкина. Можно предположить, что в промежутке между созданием «Бориса Годунова» и «Капитанской дочки» (1825–1836) перемещался в творческом сознании Пушкина центр тяжести от преступления властителей к источникам, формам и образам народного возмущения, гнева и мести. Об этом не столько говорят собранные им документы, сколько не раскрытый еще до конца символический образ Пугачева. То был не Лжедмитрий, случайный и ветреный избранник политической игры, то был прирожденный атаман, вознесенный стихийной силой народной воли на роль мстителя и судьи. Не сам он, но стихия народной обиды и гнева заставили его поверить в свое призвание стать на защиту угнетенных и обездоленных, имя же царя Петра Федоровича служило лишь третьестепенным средством повлиять на политически темную голытьбу. Личность Пугачева в повести, столь эпически спокойной, столь объективно исторической, должна быть признана самой замечательной, срединной,

притягивавшей к себе преимущественное внимание Пушкина. Ее скрытый смысл — ключ к разгадке одной из великих тайн его творчества. Беглый казак, воплотивший в себе все космически-народное, темное и озлобленное, все исторические признаки бесправного сиротства и одичания, смело противопоставил себя блеску и могуществу трона, высоко поднятого над народом раззолоченной знатью и целой армией правителей, чиновников и солдат. Кто знает, не было ли в размышлениях Пушкина таких моментов, когда он, если не чувствовал себя ближе к Пугачеву, то глубже понимал его и уже, во всяком случае, интересовался им более, чем внутренним миром великолепной императрицы? На стороне Пугачева вставал перед ним синтез нравственной силы и стихийного искания правды на стороне Екатерины — случайное сцепление обстоятельств, поддерживавших ее трон во дни весьма ощутимой опасности.

* * *

От Пугачева идет много мотивов политического размышления Пушкина; один из них приводит к идее непрочности трона. Она выступает отчетливо в «Капитанской дочке», менее отчетливо сквозит она в «Полтаве», но и там победа Петра означает победу личности, но не права. Измена Мазепы, военное искусство Карла XII легко могли бы явиться роковыми орудиями в судьбе Московского государства, а вместе с ним и в судьбе самого Петра. И украинцы, и шведы хорошо помнили годы Смутного времени, когда царский трон был игрищем в руках случайных людей. Но Петр у Пушкина не столько побеждает шведского короля военным искусством, сколько личной доблестью, где были и сила, и правда, и красота. Любимый герой Пушкина Петр тем-то и нравился ему, что легко сбрасывал с себя величие самодержца и становился великодушным и в доброте своей простым, обыкновенным человеком. Пушкин чувствовал и любил Петра как человека, но самодержца старался в нем не замечать. В самом деле, Пушкин отвел свой исторический взор от Петра, когда он расправлялся пытками и казнями. Он предпочел заставить Петра в те моменты его жизни, когда царь был великодушен, обходителен и мудр. Любовь к труду — «на троне вечный был работник», — сильная воля и благородство, хотя бы и затемняемое страстями, — вот что нравилось Пушкину в Петре. Самодержавие, царская власть служили лишь средством к высокой цели: не величием трона, но величием духа был дорог поэту его

любимец, — был дорог с топором в руке, а не в венце и порфире. В Петре Пушкин создал образ царственного гения, который ничего не потерял бы в своем величии, если бы даже оказался развенчанным самодержцем.

«Медный всадник» продолжил ту же тему о роли личности в истории, но Петру в нем придан иной смысл. При всем блеске и высоком внутреннем достоинстве царя-победителя в «Полтаве» образу этому отведено второстепенное значение. На первом психологическом плане — коварный Мазепа с его любовью к юной Марии. Образ Петра вплетается в этот мотив изумительно ярким узором. Внимательный читатель с волнением следит за двойственной жизнью сюжета: в опрокинутом изображении проносятся живые призраки седовласого Сергея Волконского и Марии... Марии Раевской, отдавшей свою юную жизнь этому декабристу, нарушителю царской присяги. Пушкин так любил эту отошедшую от него Марию, так много посвятил ей огня души и поэтической гармонии. Не зажившая еще рана сердечной горечи ощущалась в этой поэме и странно сливалась с могучей личностью Петра, к которому поэт словно обращался за нравственной помощью, словно в ореоле его духовной мощи и всепрощения пытался растворить свое личное разочарование и печаль. Не то в «Медном всаднике», этой наиболее символической из пушкинских поэм. Простота сюжета скрыла в себе сложнейшие ассоциации уже чисто политических движений мысли. Перед читателем три грозных символа, три стихии: наводнение, несокрушимый Петр на каменной глыбе и бедный житель, постигнутый несчастьем. Все три стихии — в непрерывной борьбе, и никто не скажет, какая из них найдет свое нравственное оправдание в истории человечества.

Евгений проклинаяет не роковую силу, которая движет стихией, но и источник высшей человеческой воли, олицетворяющей для него исторический разум. Это он, страшный и обаятельный царь, чей грозный призрак господствует над невской столицей, придвинул Россию к пределам бушующих волн и опасных случайностей. Судьба Евгения — судьба многих тысяч людей, нашедших свою гибель в волнах тех новых событий, которые создались при повороте исторического рычага с Востока на Запад. Рушились планы муравьиного труда, надежды на счастье, расчеты на мирное благоденствие. Логика здравого смысла превращалась в горькую насмешку над благостью Провидения, и бедный, ослепленный горем, рассудок мутился. Кровавый ужас оживлял гневный образ медного всадника и заставлял бежать его на край безумия и гибели.

И еще раз: разъяренная стихия, великий Петр на вздыбленном коне и проклинаящий его Евгений — какое странное на первый взгляд сочетание образов, какое схематическое упрощение мыслей, намеренно оставленных в сумерках творческого лабиринта! Недаром ариаднина нить с таким трудом давалась в руки читателя. Припомним, как должны были понимать поэму Пушкина о Петре и наводнении современники поэта. Исполинский размах его кисти, бросившей неукротимые волны на петербургские площади, а затем устлавшие их могучими упругими стихами, в которых донныне слышится звон медных копыт, говорил этой России, которая, преодолевая все испытания, не щадя жертв, стремилась за преобразователем к своему высокому назначению. Такое понимание казалось естественным и стало до известной степени каноническим. Оно находило себе подтверждение и в соображениях исторических. Поэма была написана в 1833 году. Тогда было много поводов пересмотреть отношения России к Западу, другими словами — вернуться к оценке реформ Петра. То был год, когда закончилось опасное польское восстание, когда на Западе николаевская Россия служила мишенью ненависти, злобных упреков, не лишенных клеветы. Русскому поэту, уже принявшему участие в защите государственного и национального достоинства своей родины в стихотворениях, обращенных к клеветникам России, было естественно снова возвысить свой голос и заявить, что какие бы бедствия ни обрушились на нее, ничто не остановит ее могучего движения вперед. Этот голос должны были слышать не только на Западе, но и в самой России, где при всяком народном бедствии, будь то война, чума или холера, поднимались яростные нападки на петровскую реформу, нарушившую, как тогда понималось в кругах официальной любви к отечеству, идиллию патриархального московско-татарского благоденствия. Никто, кроме Пушкина, не мог с таким правом и авторитетом говорить от имени России. Никто более его не возвеличил прошлого, осененного державным гением Петра.

Никто более его не был так чувствителен к ее поражениям и несчастиям. Ясно, что Пушкин желал указать на несокрушимость гранитной скалы, на которой возвышался символ могущества России. Так думали при Пушкине и долго после него.

* * *

Но одно это понимание смысла «Медного всадника» не исчерпывало творческих намерений поэта. Исследователи не раз

подходили к вопросу об ином истолковании поэмы. Она была написана через семь лет после декабрьского бунта. Сближения между наводнением и мятежом, которые разыгрались почти одновременно и на тех же площадях и улицах, напрашивались сами собою. Возникал естественный вопрос: на чьей же стороне было личное чувство поэта — на стороне мятежной толпы военных заговорщиков или его любимого исторического героя, своенравного самодержца Петра? Допустим, что подобные сближения отвечали духу творческого замысла — они могли не менять общепринятого смысла поэмы. Гранитная скала осталась на своем месте, буйные волны покорно улеглись в гранитные же берега, на месте хижины Евгения иные люди, во всем ему подобные, занялись своей муравьиной возней. Все стало по-прежнему, даже лучше: отступавшие волны унесли с собой много сора и грязи, а вновь отстроенные жилища еще ярче заблестели на солнце.

Стало быть, великий поэт прославил здесь несокрушимую силу самодержавного уклада России и поставил ее бесконечно выше страданий и бедствий маленьких, незаметных людей? Да, среди писавших о Пушкине были лица, которые делали этот вывод и объясняли его личными обстоятельствами жизни поэта. Они указывали на близость Пушкина ко двору, недостаточно оценивая, впрочем, во что обходилась поэту эта подневольная близость. Замечали, что личное обаяние царя постепенно одерживало верх над прежними свободолюбивыми мечтами, забывая при этом, что Пушкин не имел возможности свободно выражать своего истинного отношения к Николаю, под эгидой которого он чувствовал себя, как в тюрьме. С мастерством утонченного гения инквизиции император Николай Павлович приближал к себе Пушкина, оказывая ему внимание, платя долги, заранее учитывая чувство благородной признательности со стороны поэта. Одновременно тот же царь не снимал с него камер-юнкерского мундира, ни на минуту не спускал с него жандармских глаз, не разрешая выехать за границу, с цензорской подозрительностью следил за каждой строкой его творений и, «рыцарски» склоняясь перед красотой его жены, не давал своего монаршего соизволения на переезд Пушкиных в деревню из ненавистного Петербурга. Царь и боялся Пушкина, его острого слова и чуткой мысли, и не любил — во всяком случае, не умел ценить — его дарования.

Эти обстоятельства личной жизни поэта слишком известны, чтобы стоило развивать их для доказательства, что Николай Павлович не мог наследовать Петру в любви поэта, и менее все-

го Пушкин способен был переносить на его самодержавное «рыцарство» символический блеск и красоту «Медного всадника». Но вопрос все же остается нерешенным: не рассматривал ли поэт, что допустить весьма справедливо, неограниченную царскую власть как самодовлеющую силу, которая одна только в условиях эпохи могла применить разум и волю к безграничному поприщу безвестного народного прозябания? Не в обстоятельствах личной жизни Пушкина, не в противоречивом чтении иных его писаний следует искать разрешения этого вопроса.

Пытаясь ответить, прежде всего напомним, что «Медный всадник» был написан в том же 1833 году, как и «Капитанская дочка»². Если верно, что ядром замысла этой повести был Пугачев, а не Екатерина, не Марья Ивановна с Гриневым, то спрашивается: куда же девался он, этот символ народного мятежного духа, со стихийно мятежного полотна «Медного всадника»? Указывают на противоречия... Да, Пушкин был противоречив, впечатлителен во всем, из чего складывались мгновения его настроений, но в основных предпосылках, определяющихся чутьем и стремлением к правде, он не двоился никогда. Он мыслил творческой интуицией — она вела его одним испытанным и верным путем к единой цели — к овладению смыслом русской истории и жизни. Здесь, на этом пути осмысления, которое всегда по природе своей было историческим, Пушкин не мог не решить для себя коренного вопроса: что же являлось в конце концов определяющим началом в русской истории — слепое подчинение многомиллионного народа единой самодержавной воле или неугасимый мятеж, вечно живущий и только придавленный в русской душе? Искала ли и могла ли искать его гармоническая натура синтеза, примирения между бунтарем по натуре и самодержцем Петром, которого поэт так любил, которым так увлекался? Нет, объективная мысль Пушкина была слишком трезва и ясна, чтобы он мог допустить возможность примирения между бунтарем и самодержцем. С другой стороны, быть может, следует предположить, что и Петр и Пугачев — два равноценных образа пушкинского перевоплощения, что их контрастность — особенность композиционного замысла, причем только кажущаяся, так как оба образа принадлежат двум различным произведениям. Нет, нам думается, что при всем мастерстве композиции «Капитанской дочки», Пугачев, при всей своей яркости, в композиционном отношении не затемняет собою ни Марьи Ивановны, ни Гринева. Композиция «Медного всадника» к тому же настолько проста и схематична, что она совершенно

исчезает в яркости общего замысла и величавости образа Петра. Пугачева Пушкин сопоставил с Екатериной: не был ли он, вознесенный народной волей, более законным претендентом на царский трон, чем Ангальт-Цербстская принцесса, возведенная на престол гвардейской молодежью, покончившей с ее супругом? В «Медном всаднике» Пугачева нет, но есть его дух, разлитый в мятежной стихии, в ее реве и шуме заговорил народ, который безмолвствовал при гибели Годунова. Этой стихии противопоставлен Петр. По-видимому, он или побеждает эту стихию, или она добровольно смиряется перед ним. Не апофеоз ли это самодержавия, не «рыцарь» ли это Николай Павлович, смиряющий грозные волны для блага своего народа?

Так ли думал Пушкин и к этой ли догадке вел патриотически настроенное воображение своих читателей? Прошло пять лет с тех пор, когда он в порыве своей признательности писал друзьям: «Нет, я не льстец, когда царю / Хвалу свободную слагаю...»

За пять лет он присмотрелся к Николаю, да и не в Николае здесь было дело. Не одна русская действительность с ее декабрьским и польским восстаниями ставила перед Пушкиным вопросы о монархах и народных правах. Европейская жизнь развивалась тогда чрезвычайно бурно. Политическая печать вся, почти без различия направлений, не переставала указывать на Россию как на страну варварства и тирании. Философия и социализм, в свою очередь, создавали атмосферу, где трезвая и проникнутая чувством национального достоинства мысль Пушкина не могла замкнуться исключительно в круг творческих воплощений, не связанных с его страстным переживанием всего, что касалось России. Эта мысль шла гораздо дальше примитивного понимания. Не маленький декабрьский бунт, кстати сказать, уже полузабытый, становился на очередь серьезнейшей политической заботы к половине тридцатых годов, но доносившиеся с Запада удары всеевропейской революции, призрак которой не напрасно пугал императора Николая. Пушкина занимала мысль, чем же окажется русский народ, когда и до него докатится роковая волна. Не могло быть сомнения, что он выйдет из своего безмолвия и заговорит языком Стеньки Разина и Емельки Пугачева, его речь превратится в бессвязный рев зверя, торжествующего победу мести и жажду разрушения. Ни с чем иным не мог сравнить Пушкин народа, поднявшегося на своих владык, как со страшным и неумолимым движением наводнения, с одинаковым равнодушием губящего все живое и уничтожающего плоды человеческого труда и культуры.; И Пушкин менее всего идеализировал

революцию, когда сравнивал стихийное движение ее с набегом хищников на мирные жилища, с обычным разбоем:

...Так злодей,
С свирепой шайкою своей
В село ворвавшись, ломит, режет,
Крушит и грабит; вопли, скрежет,
Насилье, брань, тревога, вой!..
И, грабежом отягощенны,
Боясь погони, утомленны,
Спешат разбойники домой,
Добычу по пути роняя.

Волны в бешенстве своем, как «воры», вторгаются в мирные жилища — это пушкинское выражение: видимо, он не был склонен представлять себе картины мятежа в идиллическом свете.

Но с мыслью о разрушительной стихийности и безобразии революции связывалась у Пушкина мысль об ее роковой неизбежности, и тогда надлежало поставить и решить для себя и вытекающий отсюда тоже первостепенный вопрос: не погибнет ли Россия среди волн революционного мятежа? Не воспользуются ли русским всенародным мятежом те хищники Запада, которые заливали Россию бешеной слюной злобной клеветы? Пушкин не заблуждался: для них царское самодержавие и крепостное право — два явления, так неразрывно связанные общим узлом, были лишь слабейшими местами, куда враги России могли направлять свой удар. И те, кто в его время разрушал троны, и те, кто их восстанавливал, не заботились ни о лучшем государственном устройстве, ни о просвещении русского народа. Им нужна была та Россия, в которую издавна, со времен Грозного, стремились западные благодетели, выгодно менявшие свои знания на несчетные богатства. Им нужна была Россия ослабленная и доступная расхищению. Прав или не прав был Пушкин, рискованно отождествляя себя с настроением официальных кругов, но именно к ним, к этим хищникам Запада, обращал Пушкин свой гордый вызов в «Клеветниках России»³.

Так высылайте ж нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

Но было бы ошибочно думать, что спасение России поэт видел в несокрушимости самодержавия. Во-первых, он сам подверг эту «несокрушимость» основательному сомнению, тем более убедительному, что опыт французской революции показал непрочность монархического начала. Прообраз Петра, как его понимал Пушкин, красноречиво указывал, что спасение России не в могуществе случайных носителей власти, но в собирательной творчески-просветленной личности, воплощающей в себе и силу, и разум, и совесть народа. Эта личность есть высший символ не только гениальной поэмы, но и всего творческого синтеза Пушкина. Язык этого символа не был понятен его современникам, но едва ли и входило в намерения поэта разъяснять его смысл. В нем ведь тоже звучала угроза самодержавному строю, который был далек от идеала творчески-просветленной личности. На фоне длинного исторического полотна, которое протянулось от николаевской эпохи до нашего времени, отчетливей проступает истинное значение размышлений, владевших поэтом в минуты творческого прозрения.

Личность в царе и в мужике, но только личность — должна была спасти Россию.

